

Глава I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью — Так примерно я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем — Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом... Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал

последний автобус, но боится вскочить на ходу и, виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отста-ет. Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоря-ет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, — мо-гучий автобус моего рассказа. Образ довольно гро-моздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать — чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, том-ная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернирова-ли, — я только что поступил в Петербургский уни-верситет, пришлось все бросить. С конца четырна-дцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысячу восемнадцать книг, — вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лич-но за тридцать пять — —

Маленькое отступление: насчет матери я со-врал. По-настоящему она была дочь мелкого меща-нина — простая, грубая женщина в грязной кацавей-ке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную исто-рию с веером, но я нарочно оставляю ее как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые

любят только горький сорт, — надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол... В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, — ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, — потому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я из гостиницы в таксомоторе отправился... Все это скучно докладывавать, убийственно скучно, — мне хочется поскорее добраться до главного, — но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, — контора фирмы была на окраине города, и я не застал кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное...

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, — успело зайти солнце, опаяя по пути палевые облака над горой, похожей на Фузияму*, — я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханью ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудре-

* В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов чорт, счастье, фамилья, шелопай, ружзак и др., а также имен собственных, например, Дойль). (Здесь и далее — прим. ред.)

моту — и вдруг содрогаясь... и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это — совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках; ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновал казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли пря-

мо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец дошел доверху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдаль, на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику — телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, — эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогну-

той руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке.

«Глупости, — сказал я себе, — он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать». И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно — честное слово, — я сел рядом, — дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он, что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, — и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! — потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облытый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания.

Дымка каких-то мыслей: о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, — дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал, — я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение — все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень молоджавый, я блуждал по только что описанным местам, — и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю: невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но, быть может, уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытаться совершенство, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился набок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

«Папироса найдется?» — спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом, и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он подвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

«Немецкие», — сказал он и улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

«Вы немец?» — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.